
Владимир ГРИНЬКОВ

УЕЗЖАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Рассказ

Эта история приключилась несколько лет назад. В лесном краю, куда меня направили.

Глушь. Самая настоящая. Сквозь зеленое лесное царство, прорезая его из конца в конец, с запада на восток, проложена железнодорожная магистраль. Вот там жизнь и кипит. А от одной из станций, которая зовется Шелемаха, уходит на север однокольный путь. Триста километров в одну сторону. Безлюдье. Жилье там встречается редко-редко. И когда едешь — все время за окном лес, лес, лес. Глушь, я же говорю. И так до самого Октябрьского. А как в Октябрьское приехал — все, выходи. Тупик. И поезд дальше не идет.

Поезд здешний называется мотаня. Так, видно, местные придумали. Вообще он на самом деле Шелемаха—Октябрьское. Но вот мотаня — и все. Спрашивал я у тамошних жителей, что за название такое. Точного ответа нет. Одни говорили, что поезд этот мотается от Шелемахи до Октябрьского и обратно, туда-сюда-туда-сюда. Вот и мотаня, мол. А другие говорят, что раскачиваются вагоны на старой колее, где шпалы еще сохранились деревянные, мотаются с боку на бок, будто переваливаются — так что мотаня. Ну, нехай будет так, как говорила моя бабушка.

В мотаню в тот день я сел в Шелемахе. Состав стоял на дальнем пути. Что правильно. С глаз долой. Вид у состава был — «Позор РЖД», как у нас порой шутят. Вагоны старые, хотя и покрашены не так давно. А красили их, видно, наспех, не ободрав старую краску. Так что там, где она когда-то обвалилась кусками, новая краска, конечно, легла, да выемки-то на боках вагонов остались, от чего вагоны эти напомнили мне тех несчастных, что переболели оспой, — такие же у них негладые, в ямках, лица, как бока у этих вагонов. Ржавчина цвета крепкого чая проглядывала там и тут. Окна в черной саже и потеках. Мотаня — одно слово.

Гуднул за спиной приближающийся поезд. Я обернулся и увидел стремительно летящего к станции красавца. Первый скорый. «Россия». Фирменный. Владивосток—Москва. Он как летел, так и не сбавил даже хода. Не останавливался в Шелемахе никогда. Проектор локомотива слепящим лучом пронзал неплотные морозные вечерние сумерки. Красивые новенькие вагоны пронесли мимо меня серо-красной ракетой, только и промелькнули освещенные окна, а лиц счастливых не разобрать — такая

Владимир Васильевич Гриньков родился в 1965 году в городе Южно-Сахалинске. Окончил Харьковский политехнический институт. Первая публикация — в 1982 году. Автор нескольких романов. Его романы выдержали более 100 изданий, многие из них экранизированы. Много путешествует и пишет путеводители. Эксперт и лектор по истории и развитию туристического маршрута «Золотое кольцо России». Живет в Москве.

скорость была. Последний вагон на мгновение окатил меня красным светом фонарей, да и потускнели они сразу, потому что скорый поднял за собой такую пургу, будто туман какой на землю опустился, не иначе. Я когда-то роман читал. «Золотой теленок». Там жулик один по фамилии Бендер с друзьями прятался в придорожной канаве, а мимо в темноте мчались машины, участвующие в автопробеге. И вот мне почему-то запомнилась такая фраза: «Настоящая жизнь пролетела мимо». Вот прямо как сейчас мимо меня.

Проводница стояла у вагона, пританцовывая. Проводницу в ней признать было трудно.

Старое вытертое пальто в крупную клетку, грязно-серый пуховый платок, повязанный так, что он скрывал почти все лицо, только глаза и выглядывали настороженно, да валенки, явно большие для этой женщины. Так выглядят торговки на базарах в маленьких российских городках.

Я поздоровался и сказал шутливо:

— А я думал — пассажирка. В таком пальто и в валенках.

— Ага. Потеплело у нас. Аж до двадцати пяти мороза, — окатив меня посмурневшим взглядом, ответила проводница. — Так я валенки сниму, пожалуй. Все ж таки жара.

Билет она проверять не стала. Я поднялся в вагон. Внутри он, понятное дело, не смотрелся лучше, чем снаружи. По одной едва живой лампочке светились в служебном отделении и в малом коридоре, что перед ним, а дальше тянулся почти полностью темный большой коридор, в конце которого из-за стекла двери пробивалось тусклое свечение. Дверца кипятильника оторвана. Шторок на окнах нет. И запах, который бывает только в старых вагонах. Смесь «ароматов» сгоревшего угля, грязных матрасов, дешевой дорожной еды и дыхания десятков разновозрастных людей.

В первом же пассажирском отделении, сразу за купе отдыха проводника, я увидел двух мужчин — крепкого располневшего мужика в возрасте сильно за сорок и тщедушного старика с лысой головой и острым, похожим на клюв носом. Они молча сидели на нижних полках напротив друг друга. И еще были две женщины, эти через проход.

— Не возражаете? — спросил я у мужчин. — Доброго вам вечера.

Я забросил свою полупустую сумку на верхнюю полку. Сел рядом со стариком. Если бы не окно, из-за которого пробивался в мрак вагона неяркий свет от далекого здания вокзала, мы и не видели бы друг друга.

— Вечер будет добрый, — с большим запозданием сообщил мне сидящий напротив мужчина.

Как будто пообещал.

Голос у него был низкий, что очень ему шло — при его комплекции. Такие люди говорят неспешно, каждое их слово имеет вес, и они словно напоказ упиваются своей значительностью, не всегда чем-либо подтверждаемой, но лично ими воспринимаемой как данность. Не люблю таких. От них только притеснения и плохое настроение. У нас Башмыхин таков. Как скажет что — мурашки у меня по коже. Было бы куда уйти — я уволился бы с превеликим удовольствием. Хотя этот попроще, чем Башмыхин. Стрижен коротко, под ежик. И толстая золотая цепь на шее. Либо хозяин двух-трех магазинчиков на городском рынке. Либо лесопилку держит где-то здесь, к примеру.

— Как имя-отчество ваше, любопытно, я, — произнес мой попутчик так, как и вправду наш Башмыхин мог бы спросить.

Вот представьте: кабинет большой, в нем стол размером в два таких отделения, как то, в котором мы сейчас поедем, к нему еще один приставлен так, что буква Т получается, если сверху на него взглянуть, и где-то там, далеко от тебя, за столом сидит Башмыхин и тебе что-нибудь говорит или спрашивает, допустим. И вот если

спрашивает — так сердце сжимается, будто ты и не в кабинете начальника, а перед следователем, и каждое оброненное им слово — год тюрьмы тебе. «Фамилия, имя, отчество», — скажет следователь. Три года. Так и с Башмыхиным. Вроде обычные слова у него. А не забалуешь.

Я замялся с ответом, а попутчик мой повторил с нажимом:

— Имя-отчество, в смысле.

— Александр Александрович, — ответил я.

И зачем соврал? Ну, чего такого здесь? Хорошо еще, что темно было. Лица моего не разглядеть. А то ведь взгляд метнулся мой, ага.

Мотаня наша тронулась. И не так уж незаметно. Вагон дернулся, от чего скрипнул, будто мебель старая. Поплыло за окном здание вокзала.

— Поехали, — шепнула одна женщина другой.

Они смотрели за окно, а там потемнее было, чем с нашей стороны. Пришла проводница. Буркнула едва различимо:

— Билеты!

С женщин тех начала.

— А меня Петр Тимофеевич, сталбыть, — сказал сосед. Представился. — Такое имя дадено при рождении.

Проводница повернулась к нам, молча протянула руку за билетами. Я свой отдал ей, и Петр Тимофеевич со стариком тоже.

— Свет будет? — спросил у проводницы мой сосед.

Она ушла, будто и не слышала.

— Не в духе женщина, — произнес Петр Тимофеевич таким тоном, что я подумал о близком скандале.

Вроде как угроза даже в его голосе угадывалась.

Мотаня, поскрипывая на промерзших стрелках, выкатилась со станции. Здесь фонари уже и не попадались. Только светились заледеневшие окна одноэтажных деревянных домов да фары редких автомобилей позволяли на мгновения увидеть, как в стылом воздухе поднимаются вертикально дымы из печных труб.

— Живете здесь, сталбыть, — сказал мне сосед.

Я неопределенно пожал плечами, чтобы ничего не объяснять. Но от этого сталбыть так просто не отвяжешься.

— В Шелемахе самой? — уточнил он.

— Нет, — односложно ответил я.

— А где ж тогда? — обронил веско.

Ну, точно — как следователь.

— До Октябрьского еду.

— Далеко забрались, — оценил Сталбыть.

— А вы — ближе? — спросил я, чтобы не прослыть молчуном.

— Ближе, да.

Значит, еще до Октябрьского сойдет. Оно и к лучшему. Не располагает он к себе.

Тяготит. Вот дедок этот молчаливый, что со мною рядом, правильно себя повел. Молчит и вроде как ни при делах. Будто стеной от нас отгородился. Так спокойнее, конечно. Мудрый дед.

Шелемаха закончилась скоро. Взглянув в очередной раз в окно, я не увидел никаких огней, а одну только темноту. Ночь уже наступала. Ранняя зимняя ночь. Я всмотрелся в эту тьму и с трудом различил неширокую светлую полосу снега сразу внизу под окном и за полосой — черную стену близко подступающих деревьев. Каждое дерево по отдельности было не разобрать. Говорю же — стена сплошная.

Прошла мимо нас собравшая билеты проводница.

— Это очень значительно — где живешь и где родился, — сказал Сталбыть. — От местности все зависит.

Женщины по соседству прислушивались, но старательно делали вид, будто разглядывают что-то за окном.

— Я уехал из деревни тридцать год назад, сталбыть. Ни разу туда не возвратился. А помнил завсегда. Там дом. Там все свое. И родители там схоронены. И вся родня.

— Сиротой уехали? — спросил я необдуманно.

— Отчего это сиротой?

— Ну, уехали. И не возвращались ни разу...

Я осекся на этих словах, обнаружив свой промах.

— Не смог приехать, — сказал Петр Тимофеич, сильно помрачнев.

То ли на себя серчал, что проговорился, то ли на меня, что я распознал. Родители его умерли, а он никого из них хоронить не явился.

Неловкость какая-то приключилась. Видимо, и Сталбыть это заметил и от меня отстал.

Переключился на деда лысого.

— Чайку попьем с мороза, штоль?

Они вместе едут? А сразу я и не сказал бы.

Дедок ничего не ответил. Его согласия, наверное, и не требовалось. Сталбыть сам знал, что делать и когда. Он поднялся со своей полки и пошел к проводнице. Теперь обнаружилось, что он сильно хромает на правую ногу, прямо-таки волочит ее.

Я слышал, как он произнес своим низким голосом:

— Нам бы чаю, хозяйка.

— Вон кипяток.

— А чай?

— А чая нет! — сухо отрезала проводница. — И сахару нет!

— Везде бывает в поездах, а тут — што?

— Так то в поездах. А «тута» мотаня!

Мотаня, стало быть — диагноз. Понятные дела.

— Непорядок, сталбыть. Железная дорога. Это не цирк какой. — На это проводница промолчала. — А в других вагонах — што? Есть чай там?

И снова молчание в ответ.

Вот у меня в сумке были и сахар, и чай, и даже кофе.

— Жалобу напишу, — посулил Сталбыть.

Я поднялся с полки и направился к нему. Сталбыть стоял у открытой двери служебного отделения и был мрачнее тучи. Я бросил взгляд через его плечо. Проводница стояла к нам спиной. В платке, но уже без клетчатого пальто.

— Как же без чая пассажиров везете до самого утра? — сказал я в эту спину.

И мне тоже не ответила.

Тут в коридоре послышались шаги.

— Позвольте! — услышал я мужской голос.

Тоже проводник. Но в форме. Лицо с усами. Выглядел солидно. Он зыркнул в наши лица быстрым оценивающим взглядом.

— И у вас в вагоне тоже чаю нет? — спросил у него мой попутчик.

— Чего же нет? — не согласился усатый, и в нем сразу угадался начальник поезда. — Это железная дорога! Чай есть всегда! — отчеканил он.

— У нас вот нету.

— Как — «нету»?! — неприятно изумился усатый и воззрился на нашу проводницу. Что-то такое он в ней вдруг разглядел, что тут же сказал нам:

— Вы на свои места пройдите, очень вас прошу. Чай будет сию секунду! — Выпроставивал нас.

— И свет! — потребовал Петр Тимофеевич. — Темно, как в лесу!

— И свет будет, а как же.

Мы еще только направились к своим полкам, а в служебном отделении защелкали переключатели пульта управления, и в большом коридоре вспыхнули лампы. При их свете я снова обратил внимание на то, как волочит ногу Сталбыть.

В служебном отделении слышался торопливый шепот. Потом загремело стекло стаканов. И вскоре усатый лично появился, держа в каждой руке по два стакана в потертых и повывавших многое серебристых подстаканниках.

— А вот и чай! — произнес он доброжелательным тоном. — Железная дорога! Чай есть всегда!

Вроде как с гордостью сказал. Опустился на полку рядом с Петром Тимофеевичем, но прежде осведомился: «Не возражаете?» Нас было трое, а он четвертый. Вот почему четыре стакана чаю.

— Далеко направляетесь? — полюбопытствовал усатый, завязывая беседу.

— Покровские мы, — первым ответил Сталбыть.

— Все трое? — уточнил усатый.

— Я до Октябрьского еду, — сообщил я.

— По работе? Или как? — уточнил усатый и тут же спохватился: — Да вы чаек пейте!

— Так, — пожал я плечами. — По надобности.

Мой собеседник отхлебнул чай из стакана. На его усах повисли капли. Он тут же промокнул их свежим, тщательно отутюженным носовым платком. Хотел еще о чем-то спросить, но тут вмешался Сталбыть.

— На Покровке остановка есть?

— Нет, — ответил начальник поезда.

— И в кассе мне сказали, что нет. Как так?

— А вот так, — вполне доброжелательно ответил усатый. — Годов пятнадцать уж как отменили.

— А как же люди?

— Нет там людей.

— В Покровке нет людей? — не поверил Сталбыть.

— Нету. Совсем. Ни одного человека не осталось.

— Да как же так?! — изумился Петр Тимофеевич.

Он уезжал оттуда тридцать лет назад и запомнил свою Покровку обитаемой. Все эти тридцать лет такой ее и видел в мыслях. Не пришло ему в голову, что ничего не бывает вечного. И вот теперь он ехал изумленный. Это домой хорошо возвращаться. А он возвращался в никуда. Если нет там никого, то как это зовется? Не позавидуешь ему.

Мотаня замедляла ход.

— Извиняйте! — сказал усатый и поднялся. — Погутье. Первая остановка.

— Спасибо вам, — поблагодарил я. — И свет нам сразу организовали. И чай. Да еще в таких роскошных подстаканниках.

— «При раздаче чая стаканы необходимо устанавливать в подстаканники». Пункт 3.9.3 распоряжения от 24 мая 2007 года номер 959р, — отчеканил усатый.

Служака. У такого проводники по струнке ходить будут.

Усатый поднялся, застегнулся на все пуговицы и удалился, лишившись признаков недавнего благодушия.

— Знает, видно, службу, — оценил я.

Петр Тимофеевич и не слышал меня, казалось. Смотрел невидяще в пространство перед собой и вид имел расстроенный.

Остановка в крохотном Погутье была короткой. Минуты две или три. Людей было мало. В наш вагон поднялись двое, прошли по коридору, оставляя за собой шлейф выстуженного воздуха. Состав тронулся, и почти сразу мы Погутье оставили где-то в ночи.

— Я, сталбыть, уехал из Покровки, а там еще было двадцать дворов, — произнес Петр Тимофеевич задумчиво. — И не одни тока старики, вишь какое дело. Молодежь была. Мне, сталбыть, двадцать годов, тока отслужил.

За окном вагона была непроглядная чернота. Ни зги не видно. Мотаня катилась по старым рельсам, покачиваясь.

— Можно сказать, сбежал я оттуда. Тесно было, да. Душа томилась, сталбыть. Дембельнулся когда, через города ехал. Видел, как живут. Там жизнь, да. И я в Покровке, воротясь, не задержался надолго. Собрался и уехал. Ох, и вляпался я сразу. Оно ж не дома! Добрался до Челябинска. Вот приехал я, а там у меня ни угла, ни работы, ни денег. Пожил на вокзале четыре дня. Два раза меня в милицию забирали. Тогда еще милиция была. А я — что? Я — дембель. Отпускали, сталбыть. И тут мне подфартило. Это я тогда так думал. Женщина. Лет за тридцать. Разведенка. Без детей. И у нее в Челябинске квартира. Давай, говорит, солдатик, со мной. Дело есть верное. Как сыр в масле будем кататься. Там рынок. Большой. Контейнеры стоят. Магазины вроде. Торговля! Народу! Куда там Москве! Деньжищи рекой текут. Только успевай черпать. Это она мне объясняла. Пойду, говорит, продавцом в контейнер. И, слышь ты, не за зарплату будем корячиться, а по-умному. Разузнаем, где товар, каким торгуем, можно взять недорого, и будем там покупать, а тут продавать. Хозяин как проверит? Он весь день сидеть не будет с нами. А как уйдет, ты товар подвезешь, вот деньги и наши. Я, грит, такое уже ворочала, со мной не пропадешь. А ты машину себе купишь, солдатик. Машину хочешь? А чо, я хотел.

Петр Тимофеевич взял наугад свой чай и отхлебнул сразу полстакана. Было такое чувство, что он не с нами сейчас.

— Не сразу нас взяли. Время такое было — работы нет. Одни безработные вокруг. И тут мы. А кому нужны? Никому. Несколько дней ходили по рынку. И вот набрели на мужика одного. Ни у кого работы нет, а у него есть.

— Подфартило, — сказал я понимающе.

— Подфартило, да, — кивнул мой собеседник, и что-то я засомневался. — Сразу он нас не взял, понятное дело. Как бы примерялся к нам. Расспрашивал, кто такие и откуда, чем жили прежде. Полдня на нас убил. Потом лысину свою почухал и велел завтра приходить. Тогда, мол, и решится. Вроде как время взял на раздумье. Ну, нам-то деваться некуда. Пришли назавтра. Ладно, говорит, беру. С испытательным сроком. Месяц продержитесь — там видно будет.

— За бесплатно взял работать? — догадался я.

Он же должен был их как-то обмануть. Ну, взял, к примеру, с испытательным сроком. Месяц они у него батрачили, денег он им не платил. А через месяц выгнал. Не подошли, и все дела. Следующих взял за бесплатно. Выгодно ему.

— Нет, плату нам назначил. Маленькую, это да. Но каждый день. День отработали — получили. А если месяц продержимся — это он нам так объявил — уже настоящая будет зарплата. Пожирнее, чем сперва.

Петр Тимофеевич отпил чаю с мрачным видом.

— Торговал он сантехникой. Краны да унитазы, в обчем. Нам понравилось. Женщина эта мне сказала, что это не тряпками копеешными торговать. Там не заработаешь. А тут дорогой товар. Один унитаз продал, и если деньги не хозяину, а себе на карман — так уже вроде и не зря горбатились. Первые дни мы не шустрили пока. Присматривались, сталбыть. Оно без опыта, конечно, тяжело, но торговля пошла поманень-

ку. Женщина эта прикинула, что к чему, и сказала, что дело выгодное вышло, повезло нам. Ну, завтра после этих ее слов нам и повезло по полной. Приходим утром к контейнеру, товарка моя замки отпирает, двери распаивает, их две там, и мы видим, что пусто, нету ничего. Ни унитазов, ни кранов. Все вывезли.

— Кто?

— Сам думай. В общем, и хозяин тут как тут. Приехал как бы. И вроде он теперь нищий. Обокрали его, сталбыть. Как взвыл он! Были бы волосы на голове — рвал бы их, так убивался. И все ж подстроено, как было. Мы тока открыли контейнер, а хозяин как из-под земли. Так-то мы бы дали деру. А у него просчитано все. Рядом где-то был. И сразу нас взял в оборот. Это вы, кричит. Ключи у вас тока. Тут же охрана рынка набежала. Он и на них кричит — пропляпили, как вывозили товар. Они мечутся, вопят: мы все разыщем, сталбыть. Из глотки вырвем. Шум такой, мы растерялись, это да. А нас в машину — и повезли. Привозят за город. Лесок такой. И никого. Из машины выкинули и побили маненько. Меня больше, конечно. Товарку мою так, подзатыльники ей тока. Кричат, где товар, сталбыть. Уважаемого человека обокрали. И все придется возвернуть. А это и не мы. А они и не верят как бы. Снова меня били. Так били, что ежели был бы у меня товар — отдал бы. Но это же подстава. И тетка эта несогласная. Не брала я. Не брала, как пить дать. Она ж у меня на глазах была все время. А они не верят вроде. И говорят женщине этой: либо товар возверни, либо квартиру у тебя отнимем.

— А откуда они про квартиру знали? — не сразу сообразил я.

— А сама она хозяину и сказала. Когда он беседу с нами имел. Он про многое любопытствовал. А где живете, скока платите за угол. А у меня своя квартира, она ему говорит. Сама себе хозяйка. Погордилась, сталбыть. Да-а-а. Ну, дурных таких, штокб квартиры раздавать, нету. Она и говорит им, што квартиру ейную не отдаст. Вот тогда и началось. Слушай сюда, они ей говорят. Щас мы дружку твоему ногу ломаем. Не решишь с квартирой — вторую ломаем. Опять с квартирой не получится — тогда его живого в землю закопаем. Ну а потом тебя, ежели такая ты упертая. Ногу мою на два бревнышка положили, держат, а один, потяжелее кто, сталбыть, мне на ногу и прыгнул. Такая боль была, что вырубился я сразу.

Я непроизвольно скосил глаза на правую ногу своего собеседника. Вот он ее и волочил, я ведь сразу заметил.

— Када очухался я, гляжу — меня двое стерегут, а больше нет никого, и тетки этой нет. Увезли ее. Потом те приезжают, без нее, мне говорят, что ежели я еще раз на рынок сунусь, тада точно закопают. Меня, сталбыть. Запрыгнули в свои машины и уехали. А я остался. Хотел идти, а — боль. Падаю. Полз. Больно, а ползу. Ору. Думаю, услышит кто. Не-е-е. Так до дороги дополз. Лежал на обочине. Махал рукой, чтоб остановились. Машины мимо. Боялись. Ну, пьяный я, допустим. Иль подстава какая. Грузовик остановился. И так я в больницу попал.

Дедок слушал молча, и вид он имел безучастный. Не впервые, видно, слышал эту историю. А меня проняло. Как представишь, что мужик этот пережил в тот раз. Да какой мужик? Только из армии. Пацан. И тут такое.

Петр Тимофеевич будто мысли мои прочитал.

— Это меня жизнь поучила, — сказал он без горечи, как о чем-то таком, о чем думалось не раз. — Тока от дома оторвался, а оно меня ткнуло носом в самое то. Жизнь, сталбыть, она такая, солдатик. Терпи, в общем.

Я обратил внимание на то, какие тонкие руки у дедка. Ну, как спички. Такой же тощий после армии был, наверное, и его родственник, тогда еще просто Петя. Такому ногу сломать ничего, наверное, не стоит. Хрясь — и готово. Я зажмурился даже. Неприятно.

— А в Покровке, сталбыть, со мной такие страсти бы не приключились, — подвел черту под той давней историей Петр Тимофеевич. — У нас такое зверство и представить не могли. Святая, щитай, што земля. Не город.

Посидели. Помолчали. Я видел, как бросают быстрые настороженные взгляды на рассказчика те две женщины, что сидели напротив, через проход. Слышали ведь всё.

— А женщину ту вы видели позже? — спросил я.

— Нет. И не слышал ничего про ней. Помышляю, что отписала она квартиру энту. И бомжевала после.

Замолчал, словно заново переживая давнюю историю.

— Справная женщина была. Но ненадежная.

На следующей станции, названия которой я и не знал, мы простояли долго.

Пропускали встречный грузовой. В убогом свете редких станционных фонарей я все же разглядел, что везут лес. Четырехосные платформы. С шестнадцатью стойками. Модель 13-198-01, если я правильно распознал. Состав был длинный. Будто бесконечный. Сколько же там платформ? Шестдесят? Восемьдесят? Сто? Начнешь считать, да и собьешься. Вот же силища!

Наконец отправились. Я поднялся.

— Курнуть? — понимающе сказал Петр Тимофеевич.

— Ага.

Я на самом деле не курил. Просто хотел пройтись по составу.

Первый же вагон, в который я прошел, оказался ничем не лучше нашего. Сильный запах старья. Внутренняя обшивка кое-где поломана. В большом коридоре не все лампы исправны.

И в следующем вагоне такая же картина. Мотаня доживала свой трудный век. Вот когда человек становится стар и немощен, за ним еще есть уход, и лекарства ему дают в случае болезни, и врача вызовут, если что, но это все уже по привычке. Просто так положено. А окружающие понимают, что бесполезно все. Закон природы. Смерть близка и неизбежна. Ее невозможно победить.

Пассажиры в большинстве еще не спали. Хотя за окнами и темно, но время не позднее.

Зима.

Кто-то разговаривал. Кто-то ужинал. Мамаша с двумя детьми играла в слова. Какая последняя буква в произнесенном слове — с той буквы должно начинаться и следующее слово.

— Обрыв, — сказала девочка и взмахнула руками так, будто ухнула в этот самый обрыв.

— Вагон, — с готовностью отозвался мальчик.

— Ночь, — в свою очередь произнесла мать.

— А на мягкий знак бывает слово, мам?

— Нет.

— Почему?

— Еще не придумали.

Эта женщина могла все объяснить. Даже в вагоне ночного поезда.

В другом вагоне обутая в валенки бабушка с растерянным видом брела по коридору и беспрерывно звала:

— Кс-кс-кс-кс-кс-кс ...

Кота везет? Моя догадка подтвердилась сразу же. В одном из отделений обнаружился пушистый кот. Он не мог не слышать призывный «кс-кс-кс» своей хозяйки, но тут его кормили котлетой, и не в его силах было оторваться от угощения. Наверное, не хотел показаться невежливым.

В переходах между вагонами воздух был такой выстуженный, что я заподозрил: температура уже опустилась ниже минус тридцати. Проводница при посадке говорила про минус двадцать пять. Так вот сейчас было явно холоднее.

Войдя в один из последних вагонов, я вдруг услышал знакомый голос. У открытой двери служебного отделения стоял мужчина в старой-старой шубе и, кажется, женской. Этому мужчине голос из служебного отделения выговаривал:

— Билет есть у вас? Билета у вас нет. И получаете вы тогда у нас безбилетный пассажир.

— Ну какой же я безбилетный! — неуверенно парировал мужичонка в дамской шубе.

— А такой вот! Если откроете статью 82 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, так непременно прочитаете там, что физическое лицо, не предъявившее проездных документов, а именно билетов в поезде, является безбилетным.

— И что ж теперь? — с вызовом произнес безбилетник.

Стоявшая рядом проводница смотрела на него с осуждением.

— Теперь безбилетное физическое лицо обязано приобрести проездной документ, а именно билет, а также оплатить оказание услуги по оформлению билета, — сообщил голос из служебного отделения. — Это все та же 82-я статья.

— А денег нет! — бестрепетно сообщил пассажир.

— То есть приобретать билет отказываетесь?

— Ага, — необдуманно надерзил мужичок в шубе.

— И на этот счет в законе есть. Все ту же 82-ю статью устава открываем и читаем в ней — что? За отказ физического лица от приобретения билета и внесения платы за оказание услуги по его оформлению составляется акт и взыскивается штраф. Вы понимаете? Либо покупаете билет. Либо же и билет, и штраф.

— А денег нет! — казалось, что мужик в шубе даже рад своему безденежью.

— По суду заплатите, — спокойно сказал на это начальник поезда. — Предусмотрено. Давайте ваш паспорт, я акт составляю.

— И паспорта нет! — воскликнул мужичок торжествующе.

Я обнаружил, что ему явно доставляет удовольствие возможность покуражиться.

— Ну, это, конечно, меняет дело. Тогда по Мрже я вызываю наряд полиции. И это уже вам дороже обойдется.

— Взятки, штоль, берут? — вызывающе произнес мужичок. — Про это помышляете?

— Взятки? В транспортной полиции? — с сомнением осведомился начальник поезда, и так он это произнес, что иронии в его словах было не сыскать. — Не слышал такого никогда. Я ж не про деньги. А про то, что снимут вас с поезда во Мрже, в отделении время проведете, потом двое суток ждать, пока мы снова на Октябрьское пойдем. И в итоге еще и за билет... Плюс штраф...

На последних словах невидимого мне собеседника мужичок молча извлек из-под бабьей своей шубы мятые замызганные сторублевки и протянул их в служебное отделение. И я видел, как рука эти деньги приняла. Опешившая проводница только и вякнула запоздало:

— Через порог-то не бери!!!

Но было поздно.

— Ты, Петровна, не колотись, — сказал начальник поезда. — Доедем, не переживай.

Примета такая. Я знал. Железнодорожники вообще в приметы верят. Работа, видно, приучила.

Вдруг и сам начальник поезда показался в дверном проеме. Хотел еще что-то сказать своей коллеге, да увидел меня и будто поперхнулся.

— Вы ко мне? — спросил он после некоторой паузы.

— Нет. Прогуляться просто решил.

— Да. На месте-то скучно ехать.

Я протиснулся мимо мужика в шубе, мимо проводницы и пошел неспешно по коридору, спиной ощущая провожающий меня взгляд усатого. Прожигающий был взгляд. Вот прямо насквозь. Я перестал его чувствовать, только когда перешел в следующий вагон. Поезд уже приближался к станции и сбавил ход, и до того неспешный. Вагон качнулся на стрелке, и за окном тамбура уже угадывался свет станционных фонарей.

Вошла в тамбур проводница. Взглянула на меня и ничего не сказала.

— Куда это мы приехали? — спросил я у нее.

— Мржа, — коротко ответила она. — Пять минут стоянка.

Дверь она распахнула, только когда состав остановился. И теплый до того тамбур в мгновение заполнила ледяная стужа. Воздух настолько был холодный, что обжигал при вдохе. Проводница спустилась на перрон. Снег под ее ногами скрипел, что твой крахмал в пакете. Мне отец рассказывал, как на съемках фильмов при озвучивании скрип снега получается. Берут пакет или мешочек с крахмалом и тискают его, будто трут, перед микрофоном. Я пробовал. Очень похоже получается. Точь-в-точь как в кино.

Я не удержался и тоже вышел из вагона. Выглянула из-за облаков круглая луна. От нее исходило свечение, будто не начало декабря было, а наступала рождественская ночь.

Холод пронзил меня иголками и проделал это так быстро, что можно было усомниться в том, что на мне есть хоть какая-то одежда.

По первому пути, воспользовавшись нашей остановкой, пошел грузовой состав с лесом. Тяжелогруженный, он еле полз. Толстощекий машинист выглядывал из проема открытого бокового окна, разглядывая нашу несчастную мотаню с превосходством человека, который живет настоящей жизнью, а не доживает ее вот так некрасиво и неоправданно.

— Воспаление легких будет у вас, — сказала проводница. — Мороз уже за тридцать.

А у меня зубы выбивали барабанную дробь. Чтобы окончательно не закороченеть, я побежал вдоль состава. Бежал так быстро, что нагнал локомотив грузового поезда.

Толстощекий машинист, завидев меня, дал короткий свисток. Подбодрил меня как бы. Перед входом в один из вагонов, мимо которого я пробежал, стоял начальник поезда и выговаривал парню, который на ногах держался еле-еле. Сильно нетрезвый был парень. До меня донеслись слова усатого:

— Не имею права вас сажать. Зато обязан сообщить в полицию на транспорте. Пункт 30.1 совместного приказа МВД и Минтранса Российской Федерации...

Я не дослушал, потому что бежал быстро. Не посадит в поезд пацана. И я впервые задумался о том, что буквальное исполнение закона порой выглядит хотя и правильным... а все же и неправильным. Так у нашего Башмыхина бывает. Примет решение — и как отрежет. Уже никогда потом не будет так, как прежде, еще до того, как он сказал. И вроде по закону все. Как полагается. А чувство у меня бывает порой... Ну, не знаю, как объяснить. Не то чтобы несправедливо Башмыхин поступает. Справедливо. По закону. Но хочется, чтобы почеловечнее было, что ли. Не наотмашь.

Знакомая проводница в валенках стояла у моего вагона, пританцовывая. И все так же ее лицо было спрятано в платок, будто она его и не снимала. Я промчался мимо нее в вагон и, только захлопнув дверь тамбура, смог вдохнуть полной грудью. Здесь был жаркий воздух.

Спасительно теплый. И напрасно мне при посадке показалось, что этот воздух пахнет как-то не так. Он был полон ароматов жизни. Жизни, а не ледяной стужи за стена-

ми вагона. И много бы отдал, я думаю, тот нетрезвый бедолага за то, чтобы оказаться в теплой и по-своему уютной мотане.

Я прошел к своему месту, и сразу же обнаружилось, отчего это воздух вагона мне показался вкусным. Петр Тимофеевич за время моего отсутствия подготовил ужин.

Настаивалась в пластиковых стаканах лапша быстрого приготовления, присыпанная специями. Лежала на пакете разломанная на несколько увесистых кусков копченая курица, а подле нее — ярко-красные кружочки копченой колбасы. Несколько сваренных вкрутую яиц уже были очищены от скорлупы. Соленые огурцы с налипшими на них частичками укропа и чеснока громоздились горкой. Еще были несколько картофеля в мундирах и порубленная крупными дольками луковица. Черный хлеб с настоящим хлебным запахом. Так пахнет дома.

— К столу прошу! — пригласил меня хозяин всего этого великолепия.

Будто одного меня они со старичком и ждали. А дедуля, к слову, сидел неподвижно и смотрел заворуженно на накрытый стол. У меня тоже было кое-что с собой. Сало. Копченый сыр сулугуни. Несколько домашних котлет. Картофельное пюре. Я выложил все на стол без утайки.

— Да, посидим щас! — с чувством сказал наш Сталбыть.

И к женщинам этим, что сидели через проход, обернулся:

— И вас прошу!

Соседки наши ожидаемо отказались, поскольку, мол, только что из дома, и на ночь они вовсе не едят, и, вообще, у них диета.

Но Петра Тимофеевича этим было не пронять.

— Очень вас прошу, землячки, — произнес он степенно и внушительно. — Домой я еду. И тута для меня все родичи. Все свои.

Для него, кажется, было важно то, что они ему землячки. На одной земле выросли. И отказ был бы для него болезненным. Вроде как провинился когда-то, и с тех пор нет ему веры. Я заподозрил, что так можно вечер и испортить. В один момент. Я взял две пластиковые тарелки из стопки на столе, положил в каждую по картофелине, по яйцу, по огурцу, по котлете, ну и курочки по кусочку, хлеб. Поставил эти тарелки на вздыбившийся меж женщинами столик, произнес едва слышно, склоняясь над ними:

— Нормально доедем. Не обижайте его.

Мотаня наша уже катилась по рельсам. Луна спряталась. За окном ночь стала непроглядной.

Петр Тимофеевич извлек из сумки бутылку водки и поставил ее на стол. Посмотрел на меня призывно-вопросительно. Но я даже не успел ответить на его безмолвный вопрос.

Мимо нас по коридору прошел начальник поезда. Однако до служебного отделения он не дошел. Внезапно встал как вкопанный и попятился, чтобы лучше всех нас видеть.

— Приятного, конечно, аппетита вам, — произнес он голосом, в котором угадывалась строгость. — Но вот этого не надобно, конечно.

Это он про водку. Я понял. И все поняли.

— Так мы ж в дорогу, сталбыть. Для встречи с родимым домом.

— Пожалуйста. Уберите.

Начальник поезда именно так и произнес. С точкой посередине. С паузой. У него внушительно очень получалось. Умел свою мысль донести. Я снова вспомнил Башмыхина. И сказал своему попутчику примирительно:

— Да уберите вы ее. Нельзя так нельзя.

Петр Тимофеевич подчинился, но осерчал он, это было видно. Не считал, наверное, что ему имеют право указывать.

Только тогда начальник поезда прошел дальше, и они с проводницей о чем-то разговаривали вполголоса. Это продолжалось долго. Сталбыть устал ждать, пока уса-тый уйдет. Выставил на стол два прозрачных пластиковых стакана, налил в них водки, один стакан придвинул мне. Старику не налил почему-то.

— Я не поддерживаю вас, — сказал я. — Извините. Только недавно из больницы.

Я соврал с легким сердцем. Это чтобы не обидеть попутчика. Святое дело. А так вообще я в дороге не пью. С чужими людьми — тем более.

Петр Тимофеевич и не заподозрил в моих словах лукавства, кажется.

— Ну, за хорошую дорогу, — сказал он.

Махом выпил водку и закусил соленым огурцом. И тут же мой стакан взял тоже, выпил.

Между первой и второй ... Но тут уж перерывчика и вовсе не было.

— Вы ешьте, — произнес он участливо. — Ехать еще о-го-го сколь.

Он разговаривал со мной, а сам мыслями был очень далеко. Я заметил. Только сегодня он узнал, что там, куда он держит путь, нет ничего. И он ехал в никуда. Ни одной родной души там нет. Жилья нет. И даже остановки нет, вот ведь какие дела. Он много лет думал про эту свою Покровку. Мечтал вернуться. Но все что-то мешало. То это, то другое. А душа болела. И, наконец, дозрел. Все бросил. Дедка этого вот взял. По-едем, мол, в Покровку. Пройдемся по улице меж домов. Пускай посмотрят на Петра Тимофеича. Так мне это все виделось. И вот сейчас Сталбыть еще держал путь на Покровку, как где-то там в городе замыслил. Но это было движение по инерции. Набрал он ход, а остановиться сразу не может. Несет его туда, где нет ничего. И цели, получается, нет. Смысла нет. Незачем ехать. Во как.

— Родители-то ваши живы? — внезапно поинтересовался Петр Тимофеевич.

— А как же! Живы.

— Ну да, возраст ваш, сталбыть. Еще такой, что и родители в силе. А мои вот померли, — вздохнул он. — Такие дела.

Не давала ему покоя та история. Чувствовал вину. И потому, возможно, рвался в эту свою Покровку. Прощения заслужить. Хотя бы перед самим собой.

— Родственники умершие какие есть? — спросил мой собеседник.

— Это да. Есть те, кого мы схоронили.

— Я третью всегда пью за тех, кого уж нет. Помянете своих?

— Нельзя мне. Я же говорил.

— Говорил, да.

Петр Тимофеевич налил почти полный стакан. Женщины-соседки поглядывали на него с настороженностью. Ожидали, что такими темпами Сталбыть быстро наберется, и тогда начнутся приключения. Мой попутчик замер, глаза прикрыл, будто что-то вспоминая, да и выпил водку одним глотком. После хрустел огурцом, расправлялся с курицей, долго молчал, хмурился.

— Вы из больницы, да, — вспомнил он наконец обо мне. — Не позавидуешь. Сам лежал, сталбыть. На стройке работал, меня завалило.

— Земляные работы? — уточнил я, только чтобы поддержать разговор.

— Зачем же земляные?

— А завалило вас чем? Землей?

— Не-е. Кирпичом. Мы в котловане были, это да. Но не рыли ничего. Тока опалубку налаживали. Фундамент собирались лить. А рядом с котлованом был кирпичный корпус. Завод. Еще до войны построили, сталбыть. И, видать, котлован больно близко вырыли. Грунт подался, и стена эта кирпичная прям на нас ухнула. Троих наших всмятку. Расплющило. Потом их в закрытых гробах хоронили. А мне тока ногу отдавило. Подфартило, в общем.

Что-то зацепило меня в его рассказе. Но я пока не отдавал себе отчет, в чем дело.

— И вот в больнице я. Лежу. А ску-у-ука! К другим люди хоть идут. А я лежу в единственном числе.

— А семья? — спросил я.

— А семьи не было. Ну, как... Была женщина у меня. Куда же без нее. А как со мной это приключилось, даже ни разу не пришла, сталбыть. Кому я нужен без ноги?

Да, про ногу. Вот что меня зацепило. Он уже рассказывал сегодня. Как на рынке торговал. Как ему бандюки ногу поломали. А теперь он все по-другому повернул. На стройке вроде приключилось. Забыл про то, что уже рассказывал? После трех стаканов очень даже может быть. И едва я об этом подумал, Сталбыть себя выдал с головой. Глядя за окно, он произнес протяжно-задумчиво:

— Справная женщина была. Но ненадежная.

Теми же самыми словами. Как час назад. Но то про другую вроде женщину. Это у него такой эстрадный номер был. Черный юмор. Артист, одно слово. Я скосил глаза на женщин, соседок наших. Они, сблизив головы, перешептывались о чем-то. Видно, тоже догадались, что дело тут нечисто.

А Петру Тимофеевичу хоть бы что. Погрустил недолго напоказ и снова водки налил. Взял стакан в руку. Сказал:

— Ну, здоровья всем, сталбыть!

И на этих его словах в коридор вошел начальник поезда. Остановился напротив нас.

Смотрел строго. Под этим взглядом Петр Тимофеевич замер на мгновение. Я ждал, что будет. И тут Петр Тимофеевич сказал неспешно, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Тост был. Ставить взад нельзя.

И с полным осознанием собственной правоты одним махом выпил водку. Начальник поезда тяжело опустился на полку рядом с Петром Тимофеевичем. А только там свободное место и было. Начальник внимательно всмотрелся в мое лицо, затем так же тщательно изучил лицо безмолвного дедка, после чего произнес, уже ни на кого не глядя:

— Пункт 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации говорит нам о том, что распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

— Я заплачу, — тут же отозвался Сталбыть. — Виноват — отвечу.

— Так это еще не все, — сказал усатый, по-прежнему ни на кого не глядя. — Есть приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 года номер 473, который называется «Об утверждении правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». И пункт 70 этого приказа говорит о том, что пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если пассажир в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.

У этого усатого мышь не проскочит. На все у него статья нужная найдется.

Тут Петра Тимофеевича проняло. Это плохо, если откупиться нельзя и из поезда высадят. Дело даже не в том, что за окном уже ночь и мороз за тридцать. А вот выйдет на ближайшей станции Сталбыть с дедушкой этим, и их марш-бросок в направлении вождельной Покровки прервется. Мне показалось, что дело было как раз в этом. Рвался в свою Покровку Петр Тимофеевич. Он подумал-подумал да и убрал бутылку под стол. И перевел разговор на другое.

— Так нету в Покровке остановки, сталбыть.

— Нет, — подтвердил начальник поезда.

— А к Покровке ближайшая станция какая? Ну, которая перед ней — где поезд останавливается.

- Вошихино.
- Ой! — недоверчиво глянул Сталбыть. — А Григоровка? А эта... Как ее... Мурашево! Всегда там останавливались!
- Так то когда было? Давно там остановок нет.
- Неужто повымерли? — помрачнел Петр Тимофеевич.
- Григоровка стоит пустая. Там никого. А в Мурашеве есть несколько стариков.
- Ну?! — вопросительно изогнул бровь дугой Сталбыть.
- Хотя платформа и называется Мурашево, от нее до самого Мурашева, до жилья там километр, не меньше. Зимой дороги нет. Все заметает. Старикам не дойти. Вот и нет остановки. Но это если зимнее расписание. А как летнее — останавливаемся, а как же. Продукты доставляем. Лекарства опять же. И сами старики едут. И в собес, и в больницу.
- А раньше же было — из Октябрьского шоссе дорога до Шелемахи. И там отвечалось и в Покровку к нам, и в Григоровку, и в то же Мурашево. На мотоцикле я гонял. Я помню.
- Шоссе есть. И зимой там ездят. Но до деревень этих не чистят дороги. И заезда туда зимой нет. Ни в Григоровку, ни в Мурашево, ни в Мржу. Вот мы сейчас проезжали Мржу. Пять минут стоянка. Железная дорога работает, пассажиров доставляет, грузы. А по шоссе туда зимой не доедешь. Ну, если снега не было давно, так расчистят, конечно. А как навалит, могут и две недели просидеть там взаперти. Только мы и выручаем.
- Так без железной дороги вашей был бы вовсе каюк, сталбыть?
- Железная дорога работает всегда. Где она есть — там жизнь. Вот Октябрьское, куда едем. Дорогу туда проложили после войны уже. Гарнизон там был. Военные стояли.
- Да, помню. Ракетчики.
- Вот-вот. Грузы туда шли. Потому что оборона. А в девяностые годы военных вывели оттуда. И все равно Октябрьское не пропало. Леса там много. Валят и вывозят. Дорога есть! Чего же не везти? Сейчас там строят новый цех. Лесопилка будет. Уже не кругляк повезут, а пиломатериалы. Людям — работа, стране — доход. А не будь дороги нашей — не было бы ничего. Гнил бы лес без пользы.
- Вот куда Петру Тимофеевичу надо бы. Не в Покровку, а в Октябрьское. Там не пропадешь.
- А чего же не ложитесь? — поинтересовался начальник поезда.
- Не то чтобы он удивлялся этому, а намекал, что пора бы и спать. И нам отдых, и ему спокойнее.
- Как раз мы собирались, — сказал я. — Белье сейчас возьмем.
- А вот это не волнуйтесь, — поднялся начальник. — Доставим сейчас же.
- Он ушел в служебное отделение и вскоре вернулся, держа в руках увесистую стопку постельного белья.
- Прошу! — сказал торжественно.
- Сервис тут на высоте, — признал я, чтобы сделать этому человеку приятное.
- В пути следования пассажирского поезда в вагонах со спальными местами проводник обязан обеспечивать пассажиров комплектами постельных принадлежностей. Пункт 3.1 инструкции МПС № ЦЛ-614 проводнику пассажирского вагона, — отчеканил начальник поезда.
- Просто работа наша, мол. Так положено. Не придавайте значения.
- Приятно все же, когда люди выполняют свои служебные обязанности так... Будто не для других, а для себя, — витиевато сформулировал я.
- А как же! — с неожиданным для меня жаром воскликнул начальник поезда. — Не должно быть недовольных! Это РЖД! Знаете, как расширяется?

— Российские железные дороги.

— Это да, это правильно. Но это официально. А еще по-другому можно. РЖД — это Россиянам Желаем Добра! Во как! Спокойной ночи!

Он победно взметнул руку к своей шапке, отдавая честь, и поспешно удалился, поскольку поезд наш уже останавливался у маленького, в три окна, здания станции.

— Какой служивый! — оценил я. — Сердечный человек!

Петр Тимофеевич кивнул согласно.

— Вот люблю я ездить в поездах, — сказал он. — Живешь где-то. Вроде там дом. Сел в поезд. Уехал. Новый город, ага. Видишь что-то другое. Пожил там. Даже поработал, к примеру. А в дом все одно хочется. Снова в поезд садишься. Едешь. И еще не приехал, еще в вагоне — а уже знаешь, что возвращаешься.

— Уезжать и возвращаться! — подтвердил я. — Вот формула железной дороги. Ее главный закон. Рельсы, мосты, семафоры... Я даже хотел когда-то в детстве стать машинистом тепловоза. Это после того, как я книжку прочитал. Старая такая. Еще отец мой ее читал. Название помню до сих пор. «За правым крылом». Про железную дорогу и про машинистов. И эта книжка меня перевернула. Я ни о чем другом даже думать не хотел. Мечтал. К железной дороге бегал, смотрел на поезда.

Сталбыть ждал продолжения. А я молчал.

— Не сложилось, — понимающе сказал он. — Бывает, да. Не все в жизни гладко катит. Случаются и кочки.

Петр Тимофеевич извлек из-под стола недопитую бутылку. Посмотрел на меня.

— За то, что хотя иногда и уезжаем, а возвращаемся всегда, — предложил он тост. — За железную дорогу, сталбыть.

Я дрогнул, но удержался. Развел руками — я же, мол, предупреждал.

А Петр Тимофеевич выпил. Вот сейчас я нисколько не видел в нем выпивоху, неспособного остановиться. Он возвращался домой. И очень волновался, как я догадывался, только он вида не показывал.

— Новый цех в Октябрьском строят, — сказал я. — Вам бы туда. И работа, и зарплата, и цивилизация.

Сталбыть промолчал. И помрачнел. Угадал я его беспокойствие душевное.

— А в Покровку можно наезжать, — продолжал я. — Лето вот наступит...

Ну да, мотаня там не останавливается. И зимой обычной нет дороги, все под снегом. Зато летом — красота. Конечно, та дорога от шоссе, что помнится Петру Тимофеевичу, уже давным-давно заросла травой. Но все равно можно добраться, наверное. Сговориться с кем-то, у кого есть уазик. Отвезет, не откажет. Вот и доедут. Здравствуй, Родина. Вот изба родителей. Вот могилки их. Отведет мужик душу, раз уж так томится.

— В Покровку поеду! — твердо сказал Петр Тимофеевич. — Там буду жить!

— Там нет ничего! — я едва руками не всплеснул. — Развалилось все наверняка! Вы из дома уходили, где люди жили. Таким дом и запомнили. А его — того, прежнего — нет. Крыша провалилась...

— Крышу подлатаю! — быстро произнес мой собеседник, и было понятно, что уже думал он про это. — Дома у нас крепкие ставили. Люди в лесе знали толк, сталбыть. Стены есть. Печь тоже есть. А чего ей сделается, каменной-то?

Да, думал он про это прежде. Обмозговал и имел какой-то план.

— Продукты опять же, — напомнил я.

— А чо? Везем с собой. Сподобимся как-то. А весна придет — посадим, што сможем. И картошку, и свеклу, и капусту. Корову заведем. У нас трава какая! Коровы молоко такое давали, што сметану с того молока можно было ножом резать. Во как! Вы в городе такую видели сметану? То-то!

Хорошо еще, что в Покровке отменили остановку. Доедет этот Сталбыть до Октябрьского как миленький. Потыкается туда-сюда. Да и успокоится до лета. А так бы и пропали там они со стариком.

— Жить надо там, где родился, — вдруг сказал Петр Тимофеевич. — А не рваться куда-то далеко. И я уехал. Тоже дураком был. Как все. В город! К хорошей жизни! А то тесно дома! А что видел в этих городах? Горюшко одно! Нипочто не нравится нам там, где мы живем. Где-то далеко получше, сталбыть. Туда и премся. И я так помышляю, что никак мы свою жисть не наладим и живем опять же трудно, потому что норовим прилететь на готовое, как птички, а не там лучшить жисть, где родились. Покровка наша — какая деревня была! И получается, что всю ту красоту наши отцы и деды сработали, а мы оттуда дали деру. Предатели, сталбыть. Все развалили. Это мы развалили! — постучал себя кулаком в грудь. — Я вот постарался, Ванек Чубатый, мы вместе с ним учились... Да, а школа же у нас была! — вспомнилось ему. — Лидия Ивановна! И русский нам рассказывала, и математику... И где все это, а?

Петр Тимофеевич смотрел на меня и явно меня не видел. Он сейчас был потрясен и растерян. И еще очень одинок. Я только теперь это понял. Один как перст на всем на белом свете. Хоть караул кричи.

И тут мне такая строчка вспомнилась: «Господи, поверь в нас: мы одиноки». Это же крик одинокой души. Это про Петра Тимофеевича прямо. Мне в память врезались эти слова, когда я рассказ читал. Распутин автор. Мне тогда фамилия запомнилась легко. Так вот. У нас на работе у старика Кузовлева в шкафу целая прорва старых журналов и книг. И не возбраняется их брать. Вот я взял тогда журнал. Потому что он за 1982 год. А я в тот год родился. Такая только и была причина. И рассказ этот, да. И там слова эти. Я тот рассказ читал, и мне поначалу было не совсем понятно. Вот писатель этот съездил в город, где его дочка и жена жили, но ему надо срочно обратно возвращаться. А сам он жил не дома, а на озере Байкал. Ну, нарочно так придумал, чтобы от дома подальше и никто не мешал ему книжку писать. Маленькая дочка просила остаться, а он уехал. И плохо ему потом, и мечется, места себе не находит. И когда я читал, как-то было и тревожно мне, и непонятно, я же говорю. А вот как до этого дошел — «Господи, поверь в нас: мы одиноки» — я все понял. Ты можешь не в глухом лесу быть, а среди людей, и все равно ты будешь одинок. И это страшно.

Дедуля тем временем доел свою лапшу. Даже вымокал остающуюся влагу хлебом. Он вообще ел аккуратно. Ни крошки я не увидел на столе.

— Скоро спать. В туалет пойдешь? — спросил у него Петр Тимофеевич. Дедок молча кивнул.

— Провожу, — сказал Сталбыть.

Он пошел по коридору, подволакивая ногу. Старичок плелся за ним — худющий, как тростинка. И низенький какой-то. Точно, болеет.

Было слышно, как захлопнулась дверь туалета. Потом Сталбыть вернулся. Сел напротив.

— Пойду наверх, — сказал я. — Ночь уже.

Я намеки понимаю. Засобирались мои попутчики спать — мешать не надо. Я — наверх. А они тут пусть постели застилают. Но неловко было как-то. Я видел, как Сталбыть волочит ногу. Инвалид.

— Могу помочь, — предложил я. — Матрас сейчас вниз спущу и постелю тут вашему дедушке.

Петр Тимофеевич посмотрел на меня. Его взгляд был тяжел, как бетонная плита. Я даже подумал, что чем-то его смертельно обидел.

— Ну, вот старичку этому, который с вами едет, — пробормотал я. Растерялся я под этим страшным взглядом, если честно.

— Не старичок он, — сказал Петр Тимофеевич, и слова он ронял тоже тяжеленные, как та плита. — Это мне сын. Семнадцать годов ему.

Я смотрел на него во все глаза. Не знал, что и подумать. Перевел взгляд на женщин. И они смотрели на моего собеседника недоверчиво-растерянно.

— Болезнь ево такая, — продолжил Петр Тимофеевич. — Маленький пока, а глядится как старик. Редкая очень болезнь. Может, он один такой на всю Расею. Может, исчо кто есть. Про то не знаю. Зовется это прогерия. Дите стареет быстро, помирает рано, и помочь никак нельзя. Лекарства нету против этово.

— Это врачи так говорят? — спросил я. Не слышал никогда про такое лихо.

— Врачи, да. С них спрос какой? Природа так скомандовала. Она сильнее. От рака тоже нет спасения. Вот и тут помочь никак нельзя.

Теперь я верил каждому его слову. Не так давно он показался мне человеком несерьезным. Не то сейчас. Такое горе не сыграешь. Никакой он не артист.

— Везу его домой. На Родину к себе, сталбыть.

— А врачи? Больница? Нет же там ничего! — я никак не мог поверить в подобное неразумие моего собеседника.

— А что ж врачи? Говорю — нет спасения. Врачи сказали, что помрет он скоро. Семнадцать годов, восемнадцать, девятнадцать — и все, нету человека. Помрет от старости как бы. Как старик. Организм отказывает. Ну, как мотор в машине. Ежели старый движок и посыпался он — все, уже не починишь. Только разница в том, сталбыть, что старик пожил. А этот и не жил еще. Такая вот беда.

Он в Покровку вез сына умирать. Только я об этом подумал, как Петр Тимофеевич мысль мою и подтвердил.

— Помирать человеку надобно на своей земле, а не где-то там, — сказал он, ни на кого не глядя. — Потому как это человек, а не пес шелудивый. Будем жить там. Все свое, что от рождения дадено. На природе поживет. Посмотрит, где ево папаня бегал, када ему стока же было годов. А в городе том что? Чужие люди. На него глядят, злыми словами обсуждают. А он разве виноват, что с ним такое приключилось? Беда такая, а жалости к ему и нету.

Он помолчал, невидяще глядя сквозь меня.

— А мать-то есть у него? — тихо спросила одна из женщин.

— Как не быть? Без матери никакое дите не родится. Была мать, а как же. Родила — и жили как положено. Нормальный навроде родился. А с трех годов как будто началась болезнь. Не рос. Кожа стала сохнуть и то-о-онкая такая сделалась! Мы по врачам. А толку нет. Сказали, что вылечить нельзя. Так и будет мучиться. И тада она сбежала.

— Мать?!

— Ага. Ево мне оставила, а сама ушла. Ну а я куда ево? Живая же душа. И сын опять же. Ну кто-то ж должен рядом быть, когда беда.

— Да как она могла так! — в сердцах сказала женщина.

Но против моих ожиданий Петр Тимофеевич жаловаться на судьбу-злодейку не стал. Только и сказал вначале уже нам знакомое:

— Справная женщина была. Но ненадежная.

Помолчал, потом произнес спокойным, без надрыва, голосом:

— Но она-то что? Моя вина. Из-за меня такое злополучие. Судьба меня наказывала. За то, что жил неправильно, сталбыть. Набедокурил ежели — терпи потом.

И вторая наша соседка тут вдруг сказала:

— А чего же вам так с женщинами не везло?

С сочувствием вроде как произнесла.

— Так сложилось, сталбыть. И тоже помышляю я, что наказание. Я из армии када возвернулся, меня ждала одна. Там, в Покровке. Я Петр Тимофеевич. А она Ольга Тимофеевна. Вишь как сложилось. У обоих отцы Тимофеями звались. Любовь с ней у нас была. Мне в армию писала письма. Ну, в общем, к свадьбе дело шло. А я из армии приехал, и меня тянет из Покровки — куда там! Вот аж болею! Пропадаю! И сорвался в город. Получалось, про жисть свою я как бы думал, а про Ольгу свою — не то. Ну, мечталось, поработаю я в городе, к себе выпишу ее, и заживем. А куда там! Закружило, задубасило меня, тока успевай уворачиваться, сталбыть. И день за днем — по другим рельсам мое все покатилося. То одно, то совсем другое. И не сложилось. Жисть — она заманивает, кружит, путает. И ежели кто сплеховал, свое щасте просмотрел — тому бывают испытания...

Петр Тимофеевич не договорил, потому что со стороны туалета послышался какой-то шум. Вроде как удары, а потом сразу вой. Ужасный вой, аж мурашки по коже. Сталбыть первым вскочил, но его нога подвела, неловко как-то он ее поставил и замешкался. И я вперед него успел. Выбежал в коридор, да проводница меня опередила. Она уже была у двери туалета и с такой силой ударила по ней, что воющего болезного этого парня, похожего на старика, той дверью к окну отшвырнуло. И сразу прекратился вой. Хромоногий Петр Тимофеевич нас с проводницей в сторону сдвинул одним махом, просто нас убрал и к сыну кинулся.

— Ну, што ты, а? Про што ты испугался?

Сын ему не отвечал, и только слезы катились по его лицу. Точно, испугался. Отец прижал его к себе крепко-крепко. Но бережно, словно боялся ему кости хрупкие сломать.

— Дверь у нас тут, — пробормотала проводница. — Застревает.

Ну да, мотаня.

Ничего не сказав, Петр Тимофеевич увлек сына за собой.

Я спустил вниз с верхней полки два матраса и, невзирая на протесты своего попутчика, обе постели застелил. Но на столе еще оставалась еда. И надо было это все убрать. Я обвел рукою стол, обернулся к Петру Тимофеевичу, а он вдруг выставил бутылку с недопитой водкой. Сказал тихо:

— Я сердешно вас прошу, Александр Александрович, со мною выпить. Завтра другая жисть пойдет, завтра мы приедем. А сегодня можно, сталбыть.

Меня это его «Александр Александрович» по сердцу резануло. Вот будто меня на чем-то неприглядном поймали. И зачем соврал ему, когда он именем-отчеством моим интересовался? Мальчишество какое-то. Петр Тимофеевич воспользовался моей заминкой и остатки водки в два стакана разлил.

— Ну, давайте! — сказал он после некоторого раздумья.

Вроде и не сказал он тост. А все-таки сказал. Я его понял. Догадался про все, чего он выразить словами не смог. Мы выпили. Посидели пять минут. Да спать пора было ложиться. Женщины, соседки наши, уже легли.

Я ушел в туалет, потом вышел в тамбур. Там было холодно. Но я постоял у двери, дыханием выплавляя в заледеневшем окне маленький кружок. И все равно в тот кружок ничего не было видно. Чернота. Я вернулся в вагон. И Петр Тимофеевич, и сын его уже спали. На полу под столом лежала нога в ботинке. То есть ботинок был, из ботинка торчал штырь такой, вроде трубы, а сверху на трубу была нахлобучена ваза или емкость такая, и я не сразу даже сообразил, что это протез. Я на эту штуку смотрел и поверить глазам не мог.

Потом взгляд перевел на спящего Петра Тимофеевича. Тот был укрыт одеялом. И так это одеяло лежало, что легко угадывалось — ноги-то у него и нет. Вот отчего он

ногу подволакивал. Потому что никакая это не нога. Я опустился на полку к семнадцатилетнему старичку и смотрел, не мигая, на тот протез проклятый. У меня в голове не укладывалось. Проводница шла по своим делам каким-то. Тоже увидела протез и остановилась даже. Я смотрел на протез, и проводница смотрела. И тихо так было. Все спали уже. Вдруг всхлип. Я посмотрел на проводницу. Она плакала. И ничего с собой поделывать не могла. И тогда я догадался, что она все слышала, о чем Сталбыть рассказывал. Про мальчика, чью скорую смерть никто не может отменить. Про его мать, от сына своего сбежавшую. Про жизнь самого Петра Тимофеевича, какую никто из нас не хотел бы прожить. И тетка эта плакала по-бабьи горько, жалея отца с сыном за их неудавшиеся жизни. Так и ушла она — в слезах.

Я заснул быстро, потому что устал в тот день. И ночь пролетела для меня, как одно мгновение. Проснулся я от какого-то звука. Вскинулся и увидел, что Петр Тимофеевич не спит. И уже одет. Даже снова стоит вроде как на двух ногах. За окном едва светало. Он увидел, что я проснулся, и прошептал едва слышно:

— Вошихино скоро.

Какое такое Вошихино? Я не сообразил спросонья. А мотаня замедляла ход. Петр Тимофеевич надел куртку с капюшоном и превратился в такого огромного и неповоротливого, что ему вроде как тесно тут с нами стало. Он ушел. Сын его спал. Мы стояли минут десять, никак не меньше. В вагоне было тихо. Только зашли женщина с мальчиком, но и они прошли по коридору почти бесшумно. От их выстуженных на морозе одежд на меня дохнуло холодом. Наконец и Петр Тимофеевич вернулся. Он был взором строг. Мотаня дернулась и поползла по рельсам. Я со своей полки спустился вниз.

— Не схотел машинист остановиться на Покровке. Не положено, сталбыть. Уж как я уговаривал ево. Ни в какую! Накажут, говорит. Весь рейс ево записывается, и видно там, ежли встанет в неположенном месте. И все, не пощадят потом.

Только теперь я вспомнил, что Вошихино — это последняя остановка перед Покровкой. А в Покровке остановки не бывает. Петр Тимофеевич ходил к машинисту, хотел договориться, чтобы их с сыном в Покровке высадили. А не сложилось.

Сын Петра Тимофеевича проснулся. Резко сел на полке. Смотрел за окно. Он сейчас был похож на птицу. Со своим-то острым носом. За окном стоял стеной лес. Птице бы туда. А не улетишь. Стекло. Это как в клетке.

— Через час Покровка, — сказал ему отец. — Давай позавтракаем.

Они доели остатки вчерашнего нашего роскошного дорожного застолья. И меня Петр Тимофеевич пригласил к столу. Через час в Покровке будем. Через три часа — Октябрьское. Петр Тимофеевич смотрел за окно задумчиво. Мотаня неспешно ползла через лес. Тут была настоящая чаща. Ни малейших следов присутствия человека. Петр Тимофеевич смотрел на эту картину как замороженный. Даже забыл про завтрак. Потом очнулся будто, обнаружил мое присутствие, вдруг склонился над столом и прошептал так тихо, что только одному мне и было слышно:

— Мы в Покровке выйдем, Александр Александрович, — и снова меня это мое лживое «Александр Александрович» резануло. — Не положено, сталбыть, мне машинист сказал. Но ежли надобность такая, ежли невтерпеж, то дерни ты стоп-кран, это он мне говорит. А я перед Покровкой сбавлю ход, еле-еле буду тянуть, это штоб пассажиры с полок не посунулись. Не покалечился штоб кто. И там мы встанем. Вещи свои выкинешь в снег из тамбура и сам следом. Тока не говори никому, мол, а не то накажут. Сердешный человек случился.

Мне до сих пор не верилось, что они с сыном сойдут в Покровке. Мне это представлялось настоящим самоубийством. Даже промелькнула мысль: а не пойти ли мне к начальнику поезда и не предупредить ли его об этом сговоре? Но что-то меня останавливало. Уж не мое ли вранье про Александра Александровича?

Позавтракав, отец и сын оделись и пребывали в полной готовности. Ехали молча. Уже в вагоне началось движение, люди просыпались, где-то близко звучал малоразличимый разговор, и только у нас было тихо до поры. Как вдруг Петр Тимофеевич сказал задумчиво:

— Родители тут мои схоронены. Не смог приехать, сталбыть. В колонии сидел. Статья 144. Это исчо по тому кодексу, по старому. Кража в крупном размере. На складе работал сторожем. Только там и взяли. С такой ногой куда пойдешь? А тута ко мне по-человечески. Подфартило, в общем. Ага. Ну, и как всегда. Кому мимо, а мне в рыло. Вскрылось хищение. Воровал завскладом. Все знали. А у ево отец был непростой человек. Знамо дело, вступился за сыночка. И тот получился ни при чем. Но кто-то должен сесть. Я случился крайний. Сел. А родители мои в два года померли один за другим с тоски.

Мне показалось, что мотаня замедляет ход. И Петр Тимофеевич насторожился. Да, похоже было, что мы подъезжали. Петр Тимофеевич поднялся. Протянул ладонь свою немаленькую.

— Ну, прощевайте, Александр Александрович...

— Да не Александр Александрович я! — вырвалось у меня. — Толик мое имя!

— А батюшку вашего как звать? — спросил Петр Тимофеевич, нисколько, кажется, не удивившись.

Он вообще, похоже, разучился удивляться хоть чему-нибудь. Жизнь принимал такой, какая она есть.

— Дмитриевич я.

— Прощевайте, Анатолий Дмитриевич.

С этими словами он шагнул к служебному отделению и в малом коридоре сорвал стоп-кран. Зашипело там, мотаня заскрежетала, споткнулась будто, да и остановилась.

— Это што-о-о-о?! — запоздало всполошилась проводница.

Петр Тимофеевич на нее и внимания не обратил. Ворвался в наше отделение, выдохнул:

— Ну, погнали! Ждать нас не будут!

Сумок с ними было две. Огромные, как прицеп автомобиля. Петр Тимофеевич только одну схватил, поволок ее по коридору. А мальчишка этот старичок вторую даже и не поднял бы. Никаких сомнений. Я приподнял тяжеленную сумку. Но не донес бы. Поволок так, как попутчик мой нечаянный это делал. В тамбуре стояла проводница. Кричала:

— Куда?! Нету тута остановки!!! Нельзя!!!

Но красный флажок наружу выставила. У нас это называется «выбросила красный». Сигнал машинисту. Запрещено отправление.

Петр Тимофеевич был уже внизу со своей сумкой. Снег глубокий. Чуть ли не до пояса.

— Постор-р-ронись! — рывкнул я.

Проводница отпрянула. Вякнула и мне:

— Куда?!

Я бросил сумку вниз. Она зарылась в снег.

— Спасибочки! — крикнул снизу Петр Тимофеевич. — И сына мне отдайте!

А тот уже пробирался промеж нас. К отцу. Единственная его защита в этой жизни. Он прыгнул в снег. Отец его хотел принять в полете, а получилось так, что будто бы обнял.

Проводница подняла наконец откидную площадку, сбежала по ступеням вниз. Петр Тимофеевич уже брел по снегу, взгромоздив сумку на спину. Сын пробирался вслед за ним, барахтаясь воробушком в снегу. Росточку-то был малюсенького.

— Куда?! — орала проводница вслед. — Нету тут никого!!! Ни людей нету, ни жилья!!! Пропадете без следа!!!

Петр Тимофеевич сумку оставил поодаль, возвратился за второй, которая лежала у вагона. Проводница онемела на время. А мужчина сумку подхватил и снова пошел прочь от мотани. Туда, где его сынишка дожидался. Я не выдержал и тоже спустился по ступеням. Тут не было платформы. Я в снегу утонул. Наша проводница все так же держала красный флажок. И все проводники выбросили красный, дублируя сигнал. Смотрели с напряжением и даже вроде бы с испугом. Не понимали, что происходит. Настоящее ЧП.

От места остановки поднимался белоснежный склон, совершенно безлесный. И Петр Тимофеевич с сыном держал курс куда-то туда, на самую вершину, на которую, казалось, нахлобучили низкое темное зимнее небо, предвестник скорого обильного снегопада. Первые крупные хлопья снега уже срывались.

— Ну как же это, а?! — сказала проводница тем двоим вослед.

Обернулась ко мне, будто ожидая услышать ответ хотя бы от меня, и я увидел, что она плачет. Орать орала, но жалела их, как я подумал.

Эти двое медленно удалялись от нас. И какими-то маленькими уже казались на этом бескрайнем белоснежье.

Господи!!! Поверь в нас!!! Мы одиноки!!!

Я обхватил ладонями голову, но остановить разбушевавшуюся в ней безумную какофонию уже не мог. Со мной впервые такое было.

— Назад!!! — кричала проводница. — Щас отправляемся!!!

Те двое брели в свое никуда и не оборачивались. Возможно, они и не слышали даже.

Снег все усиливался.

Господи!!!

Поверь!!!

В нас!!!

Мы!!!

Одиноки!!!

Проводница вдруг с места сорвалась и бросилась за этими двоими вслед. Наверное, хотела их вернуть. Если что — так и силой. Так мне подумалось. Ей приходилось тяжело. Те двое хотя и проложили какой-никакой путь, а снега было много. Женщина прямо зарывалась в нем. Несколько раз упала, не удержав равновесия, но поднималась и снова двигалась, как по болоту какому. Ноги надо было выдергивать из снега, как из болотной жижи. Я слышал, как она кричала вслед уходящим:

— Подождите!!! Стойте!!!

Но они не останавливались, конечно.

— Петя!!! — слышалось мне. — Петя!!!

Снег валил и валил. Похоже было, что начинается метель.

— Петя!!! Петруша!!! Петрушка мой!!!

Мужчина вдруг остановился и обернулся. Смотрел на догонявшую их женщину. Она заторопилась и добежала наконец. Последний рывок сделала, и так получилось, что с размаху упала на Петра Тимофеевича, буквально уткнулась ему в грудь лицом. Платок ее сбился, удерживался на плечах. А она, глядя в глаза Петру Тимофеевичу, что-то говорила ему сквозь слезы быстро-быстро. Он, хотя и стоял прежде столб столбом, вдруг обхватил ее руками, обнял, а она все говорила и говорила, но про что говорила — до меня не долетало.

Потом они подхватили сумки эти неподъемные и пошли вверх по склону, уже втроем.

Господь сам не действует. Он действует через нас. Так моя мама говорит.

Шум в тамбуре, и в снег, меня не замечая, вывалился начальник поезда. Увидел троих уходящих и заорал так же, как пять минут назад и проводница кричала:

— Куда?! Назад!!!

И так же бесполезно это было. Даже не оборачивались.

— Шангина!!! Назад!!! — бесновался усатый. — Ответишь по всей строгости!!!

Он, наверное, хотел посмотреть, многие ли этот позор видят, обернулся, обнаружил меня, и тут с ним такое случилось, какое бывает с человеком, о котором вся правда раскрылась в одно мгновение. Вся неприглядная правда. Тайлся человек, тайлся, уже поверил в то, что обошлось, а оно вот так вот — хлоп! — и, как прежде, никогда уже не будет для него.

— Ну, увидел?! Вынюхал?! Давай любуйся, как оно у нас!!!

Как бы улыбался он, но это не улыбка была, а оскал. Бешенство настоящее.

— А ты, наверное, думал, что шито-крыто едешь, что я тебя не распознал?! Да я ж тебя сразу! В первый миг! Я ж тебя видел вот как сейчас, когда к начальнику твоему, Башмыхину, приезжал! Это ты меня забыл, ага, а я-то помню! Память у меня на лица первостатейная!

Он наступал на меня и тряс кулаками перед моим лицом. Мне казалось, что он с удовольствием меня побил бы, вот измордовал бы прямо. Но он боялся. Потому что и без того дела его плохи были. И он в бессильной ярости только кричал:

— Шпионить!!! Против нас!!! Давай!!! Башмыхин тебе премию подкинет!!!

Сил не было смотреть на то, как он убивался. Я развернулся и молча поднялся в вагон.

Слышал, как начальник поезда прокричал машинисту:

— Отправляй!!! Поехали!!!

И мотаня почти сразу тронулась. Женщины наши уже не спали.

— Что там такое было? — спросили у меня.

— Ушел наш Петр Тимофеевич. С сыном. И проводница с ними.

Они изумились сильно, хотели переспросить, да в это время по коридору проходил начальник поезда, и я спросил у него:

— Проводница эта, Шангина... Она Ольга Тимофеевна?

— Именно! — процедил он сквозь зубы, даже не взглянув на меня, и ушел.

А я сидел и слова вымолвить не мог. Только теперь осознал, чему недавно стал свидетелем.

Через два часа мы были в Октябрьском. Я вышел из вагона и пошел вдоль состава к зданию вокзала. Завидев меня издали, начальник поезда повернулся ко мне спиной и стоял так все время, пока я мимо него не прошел. А у дверей вокзала я столкнулся с помятым парнем, лицо которого мне было знакомо. Он пьяный был вчера. И начальник поезда отказывался его сажать в вагон. Когда я мимо пробежал. А после, значит, посадил. Это на станции Мржа, я помню. И правильно начальник сделал, подумал я. Пьяный очень парень был вчера. Упал бы в сугроб и замерз там насмерть. А так вот он — среди людей.

Никаких дел у меня в Октябрьском не было, и через несколько часов я той же мотаней уехал. Начальник поезда видел, как я садился в вагон, но за всю дорогу у нас так и не появился. Через два часа после отправления мы проезжали Покровку. Снег здесь валил по-прежнему. Я выглядывал за окно. Но никого там не увидел. Белое безлюдье. Каково там Петру Тимофеевичу? Да и добрались ли по такому снегу?

Доехав до Шелемахи ранним утром следующего дня, я пересел в нужный мне поезд и отправился к себе. Уже днем был дома. От работы я живу недалеко. Поэтому вечером туда ходил на всякий случай, хотя была пятница, а я официально в командировке до понедельника. Зашел к старику Кузовлеву.

— О, Анатолий, здравствуйте! — приветствовал он меня.

Его рукопожатие было теплым, каким-то домашним, уютным.

— Как съездили?

Я ему рассказал.

— Да, мотаня отжила свое, — сказал Кузовлев, и получилось это у него так печально, будто я ему о его собственном возрасте напомнил. Мне даже неловко стало.

— Готовьтесь к понедельнику, Анатолий. Совещание в двенадцать. Там всё и расскажете.

Башмыхина сейчас нет. Он сам в командировке. А в понедельник будет, да.

Помолчал. Смотрел он при этом куда-то за окно. И после долгой паузы произнес задумчиво:

— А мотаню жаль. Нужный поезд.

Посмотрел мне в глаза. И сказал мне непонятное:

— С людьми поезд, да.

В понедельник Башмыхин действительно был на работе. И в двенадцать совещание началось. Башмыхин сидел во главе своего огромного, буквой Т, стола, а остальные все начальники уселись за столом в два ряда, лицом к лицу. Мой вопрос был третьим. Так что я не за столом сидел, а на стуле у стены. Издалека наблюдал. Волновался, конечно. Мне уже приходилось в командировки ездить. Но там было как? Вернулся из командировки, перед начальником своим отчитался и свободен. А чтобы перед Башмыхиным лично, да на совещании — это в первый раз. И когда меня подняли с места, я всполошился, перебрал торопливо листочки с текстом, подготовленные для пущей уверенности. Вышел к трибуне, за которой у нас принято выступать с докладами, а когда поднял голову, увидел, что Башмыхин не смотрит на меня, а перебирает свои бумаги на столе. Я не знал даже, можно ли мне начинать. Неуверенность была такая. Тогда я стал смотреть на присутствующих. А они смотрели на меня. Внимательно. Я в этом кабинете сейчас был самым молодым. Они-то вот уже повидали всякое и всяких. Зубры такие. Опытные. А я будто случайно здесь очутился. Не по праву. До меня вдруг дошло, что вот сейчас, возможно, моя карьера только и начинается. Меня испытывают. А на что, мол, парень, ты способен. Дали тебе первое серьезное задание. Посмотрим, как ты справился.

— Вопрос по поезду Шелемаха—Октябрьское рассматривается, — сказал Башмыхин. — Как вы знаете, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации определяет такие линии, как малоинтенсивные. С невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы. Прямо про этот поезд. В связи с оптимизацией, которая ныне проводится в РЖД, такие направления закрываются. Мы не порем горячку. Не рубим сплеча. Туда комиссию направим. Вопрос изучим. Комиссия подготовит предложения. Тогда и примем взвешенное решение. А Анатолия Дмитриевича мы предварительно туда отправили. Наш передовой отряд, можно сказать. Разведка. И вот он нам самую свежую информацию привез. Расскажите, Анатолий Дмитриевич, что видели, что слышали и какие ваши выводы.

Он поднял наконец на меня глаза, и я в том взгляде все прочитал. Он осторожный очень, Башмыхин. Он никогда не мчитя вскачь, а обязательно соломки подстелет. Вот если нужно решение принять какое-то, Башмыхин наш, будучи железнодорожником многоопытным, быстро сообразит и правильный найдет ответ. Но этот ответ он так сразу никому не скажет. Он даст возможность подчиненным самостоятельно к нужному ответу прийти. Как бы самостоятельно. С одним поговорит прежде, с другим, мысли какие-то пробросит, даже обсудит вроде бы что-то с подчиненными. А у нас тут дураков не держат. Люди понимают, откуда ветер дует. И куда. И начинают они все решения и соображения подгонять под нужный ответ. И вот ответ этот вызрел. То есть

Башмыхину сразу было известно, к чему мы в итоге придем. Но тут был задействован коллектив. Доклады составлялись, справки разные, сотрудники многоопытные свои заключения давали. И все это в папки подшивалось. И вот выносят наконец окончательное решение. Какое нужно. И если вдруг что-то пошло не так — не придерешься. Для любой комиссии найдется необходимая бумажка.

Вот мотаня эта. Она обречена. Мне наш Кузовлев рассказывал по секрету. Мало того, что поезд этот убыточный, так еще и мешает он там грузоперевозчикам. Путь однокольный. И по нему идут и идут составы с лесом. А тут мотаня эта. Тормозит там все. Потому что не разъедешься. И вот мотаню под оптимизацию подводят. В утиль сдадут. Но надо прежде все оформить грамотно. Вот меня отправили. После меня комиссия поедет. Бумажка к бумажке. И будет решение.

Башмыхин смотрел на меня не мигая. И я, холодея под этим взглядом, приступил.

— Комиссия проработает все вопросы, — произнес я деревянным голосом. — И на место выедет, конечно. Изучит. Но я расскажу о том, что видел лично. Возможно, это поможет коллегам при подготовке предложений. Поезд Шелемаха—Октябрьское имеет оборот двое суток. Состав единственный. Вагонов семь. Средний возраст вагонов составляет около сорока лет, что более чем вдвое превышает данный показатель для плацкартных вагонов по РЖД. Техническое состояние вагонов неудовлетворительное. По сроку службы эти вагоны подлежат исключению из парка. Одним словом — металлолом.

Башмыхин слушал внимательно. И все слушали. Я заглянул в свои бумажки, чтобы не сбиться, и прочитал:

— Я просмотрел статистику за прошлый год. Наполняемость поезда составляет двадцать восемь процентов.

Легкий гул. Ну да, деньги на ветер. Не поезд, а воздуховоз.

— Поезд убыточный. Он не единственный такой на нашей дороге, но самый убыточный из всех.

Я аккуратно, листочек к листочку, сложил свои записи.

— У вас все? — вроде бы даже удивился Башмыхин.

Мол, кратко как получилось.

— Нет, не все. Я еще сказать хочу. Поезд старый и убыточный. А отменять его нельзя.

Башмыхин опустил глаза. Как будто я сказал какую-то бестактность, и ему теперь неприятно было на меня смотреть.

— Там дикая природа. Сплошной лес. Местами между населенными пунктами десятки километров. Зимой после снегопадов второстепенные автодороги по две недели не расчищают. Проезд там невозможен. А железная дорога работает всегда. Я видел в поезде родителей с детьми. Я видел стариков. Они автобусом поедут в Шелемаху? А если автобус в дороге сломается? Той ночью, когда я ехал в Октябрьское, мороз был под сорок. Что будет с этими людьми?

Башмыхин поднял наконец глаза на меня. И у меня сердце сжалось. Но я еще смог продолжить.

— Я видел там рабочих, вахтовиков. На работу ехали в Октябрьское. Там новое производство открывается, будут пиломатериалы выпускать, людей на работу уже набирают. Вахтовиков больше станет. Им как быть? Далее. Многие остановки поезда отменены. Люди из своих деревень уехали. Отменим поезд — уедут и из других деревень, где еще живут. Земля обезлюдует совсем. Я видел мужчину, который тридцать лет назад уехал оттуда. И вот вернулся. Поезда не будет — он там пропадет. Там, где железная дорога, — там есть жизнь. Где дороги нет — там запустение.

Вот тут я захлебнулся воздухом и замолчал. Села батарейка, как мой папа говорит.

— Позвольте, я скажу, Евгений Александрович, — обратился к Башмыкину Приходько. Этот да, этот скажет.

Башмыкин величественно кивнул.

— Опыт, конечно, дело наживное, — сказал Приходько. — И Анатолий Дмитриевич со временем научится зреть в корень. Он способный, я в него верю. Но тут он пока демонстрирует нам свою неподготовленность. За деревьями не видит леса. Вот мужчина там вернулся какой-то. Очень интересно это нам, не спору. На совещание мы собрались, значит, не зря. Но по нашей дороге пассажиропоток по прошлому году только в дальнем сообщении составил четыре миллиона пассажиров, а в пригородном — все двенадцать миллионов. Мы другими мыслим категориями. Это раз. Далее. Мы не волонтеры. Благотворительностью не занимаемся. За финансовые показатели с нас строгий спрос. Это два. По мотане этой, как ее в народе называют, вопрос надо было решать еще лет десять назад. А мы все тянули, тянули. Поезд не безопасен, пора это признать. Это три. У меня на этом все.

Приходько посмотрел на меня снисходительно и опустил на стул. Он знал правила игры. И всегда их соблюдал. Потому и на коне. А я, получается, сплоховал. Не оправдал доверия. Меня душила обида. Я резко поднялся. Сам от себя не ожидал подобной прыти. Стоял, набычившись. И лицо у меня было красное-красное. Сам-то я этого не видел, конечно. Это мне позже Кузовлев рассказывал, который тоже присутствовал на том совещании.

— Мне родители говорят: «Сказал правду — одного Бога и бойся!» — выпалил я.

И увидел, как поползли вверх брови нашего Башмыкина. На самом деле я всегда его боялся. И в тот день — тоже. Но меня, говорю же вам, душила обида. За Петра Тимофеевича. За сынишку его обреченного.

— А я сказал правду! Да, я знаю, мы миллионами считаем пассажиров. Только миллионы эти состоят из людей. Вот из каждого! Поштучно! То есть подушно, да!

Я сбивался и боялся, что не смогу закончить. Только бы они не начали смеяться надо мной.

— Мы о них должны думать. Вот о каждом! Мы не волонтеры. И не благотворительная организация. Я согласен. Мы — РЖД. Знаете, как РЖД расшифровывается? Не только так, как мы все привыкли. А вот еще придумали, что РЖД — это Россиянам Желаем Добра! По первым буквам так и выходит. Мы не можем думать все время о миллионах тонн и номенклатуре грузов. Потому что тогда люди здесь — где?

Я смотрел Башмыкину в глаза. И видел в них приговор себе. Следовательно, ага. Каждое слово по году тебе прибавляет тюрьмы.

— Спасибо. Садитесь, Анатолий Дмитриевич, — сказал Башмыкин.

Четыре года, ясно. Это шутка. А на самом деле я уволен. Ну и пусть.

— Четвертый вопрос рассматриваем, — объявил Башмыкин.

Вот так, через запятую. Процедура. Этот поезд не останавливается. И не замечает никого, кто ненароком угодил под его колеса.

— Позвольте, я скажу, — вдруг поднял руку, как ученик на уроке, Кузовлев.

Башмыкин повернулся в его сторону и глянул поверх очков.

— По какому вопросу? По четвертому?

— Нет, по третьему.

— То есть Анатолия Дмитриевича желаете дополнить?

Башмыкин вообще все всегда схватывал на лету.

— Да, — ответил Кузовлев твердо.

— Возвращаемся к третьему вопросу, — сообщил Башмыкин таким безразличным тоном, что непонятно было, досадует он из-за этой задержки или нет.

Кузовлев поднялся. Все теперь смотрели на него. Кузовлев — он самый старый был у нас. Опытный, да. Если что неразрешимое, если тупик — так все к нему. Может, потому и не на пенсии он до сих пор. Держат, чтобы если проблема — так он под рукой и ехать за ним домой не надо. Сам он на первые роли никогда не лез. Сидел себе, отчеты изучал. Спросят его — ответит, поможет. А сам без нажима. Тихоня. Жену три года назад похоронил. Рак. От рака спасения нету, как говорил Сталбыть. Так что работа для Кузовлева — это все. Дома бы помер, если в бездействии.

— Анатолий Дмитриевич наш молод, это да, — сказал Кузовлев. — А молодость — это зрение хорошее, острый глаз. Я думаю, верное было принято решение — его туда в разведку отправить. Поехал. Свежим взглядом незамыленным все окинул. Свое мнение сформировал и нам озвучил.

Я видел, как присутствующие косили взглядами в сторону Башмыхина. Реакции его ждали.

— Снять направление можно быстро. А восстановить его потом — целая история. Вряд ли кто здесь это помнит, но ходил когда-то поезд до Должанина. Его давно отменили, еще в семидесятые. И сейчас там нет ничего. Вот придет распоряжение поезд восстановить, а инфраструктуры нет. Стрелки в негодность пришли, семафоры разграблены, рельсы местами разобраны...

— Так там вообще, наверное, движение отменили, — встрял Приходько. — А здесь грузовое-то останется, лес вывозят.

— Я не про грузы. Я про людей. Правильный вопрос поставил Анатолий Дмитриевич: «А люди здесь — где?»

Сказал это Кузовлев и сел.

— Вопрос требует дальнейшей проработки, — произнес Башмыхин.

Буднично так сказал. Ни досады в его голосе не угадывалось, ни раздражения.

И к следующему вопросу перешли. Будто и не было заминки.

Меня в тот раз не уволили. Чему я немало удивился.

А мотаню сохранили, да. Так и ходит из Шелемахи через день. На платформе Покровка теперь делает остановку. Подбирает проводницу в рейс. Ольга Тимофеевна Шангина. В самой Покровке прибавилось народа. Там поселилась молодая пара из Красноярска, художники. Еще семья с Украины переехала. Муж с женой и ребенок, которому два года. Завели скотину, фермерами решили сделаться. Петр Тимофеевич, я слышал, к ним примкнул. Потому что знает все вокруг. А сын его до сих пор жив. Что-то неверное напророчили врачи. Или ошиблись они. Или воздух тамошний помог парнишке. Целебный, говорят. Там кедр много. Роскошные места.

Сергей СМИРНОВ

РАССКАЗЫ

ВОДОЛАЗ

Дед Чухно, опустив чисто выбритую до блеска загорелую голову, сидел на сухом березовом пеньке, оставшемся от прошлогодних дровяных запасов. Перед ним большой старый таз с отбитой эмалью по краям, доверху наполненный сваренными в крутом кипятке речными мидиями. Большим пальцем с толстым ногтем, похожим на закругленную стамеску, вытаскивал моллюска, бросал раскрытые створки в большую старую корзину, а содержимое раковины — в оцинкованное ведро. Совершал он это малопривлекательное действие ради гусей и уток, которых решил разводить после ухода с должности председателя колхоза. От мидий шел такой запах, что даже сестра Николая Оксана, женщина средних лет, такая же крепкая, широкоплечая и громогласная, с твердым характером, зажимала нос и уходила прочь.

Старик встал, с трудом разогнув спину. Это дань сырости и морским ветрам — наследство тридцатилетней службы на флоте. Он прислонился к белой стене маленького садового флигелька, в котором проживал с весны и до поздней осени, и огляделся по сторонам.

Утро в селе Батурино. Петухи, соревнуясь друг с другом, пропели зорю. Дворовый пес Серко, потягиваясь и гремя цепью, вылез из будки. Хозяйки хворостинками выгоняли скотину со двора, мычали коровы, когда выстрелом звучал кнут пастуха Игната. За старинной рощей князя Кочубея солнце подсвечивало верхушки вековых сосен...

В военкомате в Бахмаче призывнику Николаю Чухно сказали:

— Пойдешь служить на флот.

На флот так на флот... Воды не боялся, с детства хорошо плавал и нырял в быстром светлом Сейме. В водолазной школе в Балаклаве понравилось. Год учебы пролетел незаметно. Выпускные экзамены сдал на отлично. В звании «старшина первой статьи» отправился на Тихоокеанский флот. Водолазы нужны везде, где есть море и корабли. Но кроме кораблей, часто оказывал помощь в бухтах, вырезал сети, намотанные на винты рыбацких сейнеров... И каждое погружение на глубину — большой риск. А потом в крошечном трюме водолазного баркаса, отпивался крепким горячим чаем...

Потом главного старшину Николая Чухно снова перевели на Черноморский флот.

Капитан третьего ранга Никитин, начальник водолазной службы, как-то сказал:

— Слушайте, старшина, подготовьтесь-ка на офицерское звание, экзамены экстерном сдадите, опыт у вас большой, теорию знаете.

— Есть «сдать экзамены»! — ответил Николай Чухно.

Срочную он отслужил. Но к морю прикипел, хотя до службы и в глаза его не видел. Стал командиром водолазного бота.

Сергей Смирнов окончил Московский железнодорожный техникум. Публиковался в журналах «Кольцо А», «Нева», «Юность». Лауреат литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина. Участник и победитель российских кинофестивалей.